

Владимир Войнович не впервые в гостях у "Вечернего клуба". И на сей раз продолжается разговор о художнике и власти, о писательстве.

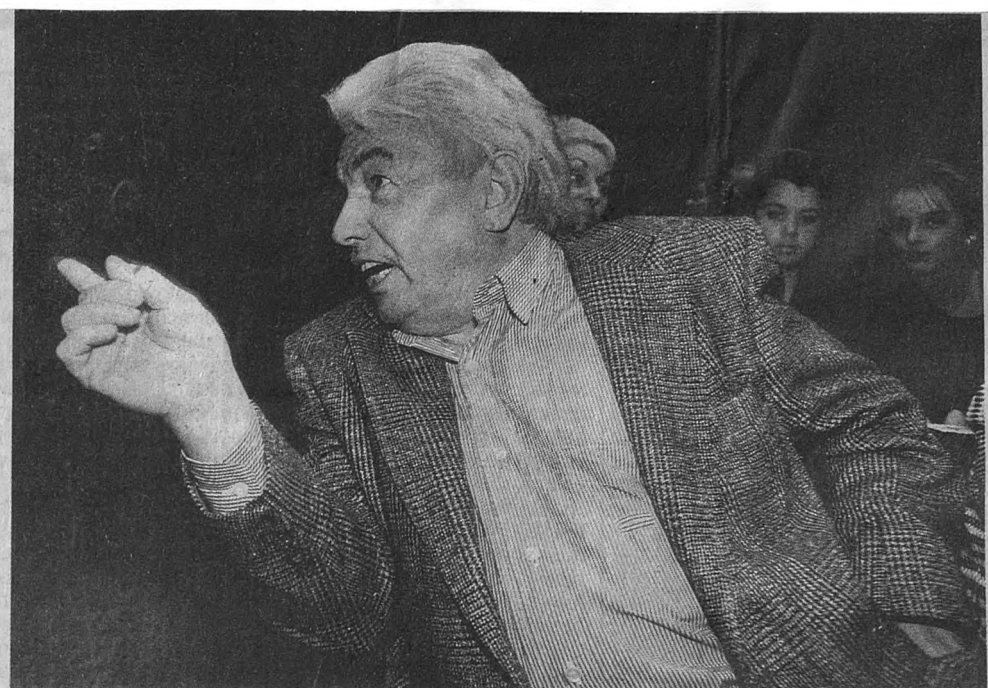
По существу именно об этом Войнович пишет в своей последней книге "Замысел" (первый том опубликован в 1994 году).

Владимир ВОЙНОВИЧ:

Веч. клуб. - 1996. - 30 июля. - с. 7.

Я не революционный писатель, хотя мне

приписывают «Овода», путая Войнич с Войновичем



— Владимир Николаевич, а продолжение "Замысла" будет?

— Будет. Готовится второй том. Похоже, будет и третий.

— Сегодня писатели стянули с себя некогда навязанные им функции — быть проводниками партии, инженерами человеческих душ. Сохраняются ли у них какие-либо обязанности, ответственность перед читателем или же подобное — пережиток прошлого?

— Остаются. Хотя, пожалуй, все-таки превращаются в атавистическое предствление. Литература никогда не умрет. В то же время неизбежно будет играть все меньшую и меньшую роль в обществе. Отчасти это признак здорового общества. Ведь лишь в большом, особенно тоталитарном государстве писатель есть замена целого комплекса гуманитарных институций. К нему идут как к правозащитнику, адвокату, судье, священнику, психиатру, психологу, сексологу — за защитой и ответом на свои вопросы, главный из которых: "Зачем жить?" Когда наступает даже относительная свобода, снимается табу с ранее недозволенных к широкому обсуждению тем — в тех же средствах массовой информации, — и человек обращается уже за помощью и советом не к писателям, а к специалистам. И все реже и реже ищет ответы на свои вечные вопросы в литературе. Тем более что в конце концов узнает, что никаких правильных ответов на эти вечные вопросы нет. Кроме того, у книги появились серьезные конкуренты. Когда я был маленьким, одно время мы жили в крошечной деревушке в степи в Ставропольском крае. Несмотря на то, что южные места, зима была долгая. В этой занесенной снегом деревушке не было ничего, кроме нескольких случайно оказавшихся у нас книг, включая Толстого. И я, деваться мне было некуда, стал их читать. Для меня, восьмилетнего мальчика, эти взрослые книги стали выходом в другой мир. Современного ребенка ждет много более интересных занятий: путешествия вместе с родителями, компьютерные игры. А писатель... Пока к его слову прислушиваются. И нормальный писатель чувствует свою ответственность перед читателем. Но она, повторяю, понижается.

— Некоторые писатели, чье реноме сложилось довольно давно, сегодня пытаются писать иначе, чем раньше. Как, скажем, Евтушенко — я имею в виду роман "Не умирай прежде смерти". Возможно, пример не совсем удачный, поскольку у вас, кажется, личные счеты с Евгением Александровичем? Кстати, вы его вывели в "Шапке" под Мыльниковым?

— Нет, не его. Таких писателей, как Мыльников, занятых только собой, очень много. Даже среди талантливых. В данном случае — Юрий Трифонов. Он был замечательным писателем, но всегда любил говорить о себе. Что же до Евтушенко, то он всегда заигрывал с публикой, всегда работал на нее. А счеты у меня с ним не просто личные, а лично-общественные. Вообще стараюсь говорить объективно о человеке, независимо от своих симпатий или антипатий. Считаю, что в молодости Евтушенко был очень одаренным. Хотя и тогда на публику много работал. А со временем, потому как всю жизнь лгал, изолгался до того, что стал бездарным.

— А вам как бы безразличен массовый читатель?

— Нет, почему же... Действительно есть писатели — правда, они попадаются редко, — которые утверждают, что читатель их совсем не интересует, им важно самовыразиться, а дальше — хоть трава не расти. Я же, например, всегда полагал, что если пишу, то я тем самым как бы выступаю в зале. И мне вовсе не хотелось бы, чтобы этот зал был пуст. Однако это вовсе не означает, что я готов на все, лишь бы заполнить аудиторию. По-видимому, мне повезло или направление моих способностей и усилий тому причина, но у меня читатель все-таки есть, и он мне очень нужен. Но, повторяю, все его желания выполнить не могу. Допустим, сегодня немало писателей, которые сочиняют кошмарные бестселлеры, прочую дешевку, сколачивая заодно немалый капитал. Если бы меня кто-то заставил писать подобное, застрелился бы.

— В большинстве этим промышляют ваши младшие коллеги?

— Возраст роли не играет, такие писаки были всегда. Подобная литература появилась где-то с начала века. Однако

детективы, как у Конан Дойла, еще соответствовали более или менее достойному уровню. Сегодняшние сочинители, чтобы привлечь публику, выводят в литературные герои маньяков вроде Чикатило, пытаются вникнуть во все подробности, детали, с полной и даже чрезмерной откровенностью вываливают перед читателем внутренности человека, описывают какие-то страшные, чудовищные, беспредельно грязные движения души. И сами купаются в этой помойке, явно не без наслаждения. Возможно, тут еще и Фрейд "виноват", все начитались или слышали о его методе психоанализа. Кроме того, нездоровые масс с некоторым пор, наверное, стало проявляться в том, что им стали нравиться сумасшедшие писатели, например, типа Кафки. Хотя, понятно, ничего против этого хорошего писателя я не имею. Вместе с тем мода на произведения с уклоном в психическую ненормальность дает повод для серьезных раздумий.

— Может быть, все дело в отсутствии цензуры? Кстати, как вы к ней относитесь?

— Я крайний противник какой бы то ни было цензуры. Она существовала и раньше, и в дореволюционное время, и как бы предсказывала не только запрет критики общественно-политической системы, но и поддержание нравственного баланса в искусстве. Допустим, нельзя описывать какие-то аморальные вещи — постельные сцены, ругаться в книгах матом. В этих общепринятых рамках приличия было чрезвычайно много ханжества. Сейчас все препоны устранены. Писатели ограничены только собственным вкусом. А его-то часто и нет.

— А для вас запретные темы существуют?

— Для меня — нет. Я склоняюсь к мысли, что в литературе можно изображать все. Не возбраняется даже использовать ненормативную лексику, пусть самое нецензурное слово. Однако только в том случае, если это диктуется художественной необходимостью. В художественном сочинении никакое слово, даже "каша", не следует употреблять, если это не оправданно художественно. А художественность для меня — это точность. Этому же требованию художественной необхо-

димости должно подчиняться и описание тех сторон жизни человека — интимной в том числе, которые нас больше всего волнуют и бывают источниками наиболее острых переживаний. Писателю не надо ничего чураться. И все-таки, повторяю, это должно быть оправданно художественно.

— Владимир Николаевич, свое "Дело № 34840", начатое 11 мая 1975 года и законченное 31 мая 1993 года, вы не закрыли. Почему?

— Потому что закрыть его мне не дали. Тем не менее для себя я это "Дело" закрыл — расследование, на которое потратил ровно восемнадцать лет, мне надоело. Когда в 1975 году меня отравили в гостинице "Метрополь", тогда же меня и оклеветали разные силы, разные люди, включая и Евтушенко. Они из кожи лезли вон, с тем чтобы никто случившегося не заметил. Тактика была взята на замалчивание. Меня это задело даже гораздо сильнее, чем сам факт моего отравления. Считаю себя правдивым человеком. И для меня моя репутация как человека правдивого очень дорога. А "эти" стали доказывать, что я лжец. И тот же Евтушенко еще недавно это утверждал, а теперь — прикусил язык. Словом, мне было важно разобраться в этой истории. Если бы увидел, что ошибался, так бы и написал. Однако я оказался прав, и "они" косвенно, не полностью признались в совершенном покушении. Мне этого достаточно. Может, если когда-нибудь историки преступлений КГБ будут разбирать архивы, они до всего докопаются.

— Говорят, что в России поэт — это судьба. А прозаик?

— Конечно, то же самое — судьба. Как и любой художник.

— Только в России или на Западе тоже?

— В России особенно. В тех условиях, что некогда здесь существовали, каждый, кто брался за дело с серьезными намерениями, — писал не на потребу публики, не приспособившись к тем или иным обстоятельствам — тем самым взваливал на себя тяжелый крест. Вероятно, даже сам сначала того не понимая. Например, в молодости, написав первую повесть "Мы здесь живем", я совершенно не предполагал, что

у меня будет трудная литературная судьба. Между тем один старый писатель, прочтя ее, заметил: "Жизнь ваша будет трудной". — "Почему?" — "Потому что то, что вы пишете, очень похоже на реальную жизнь". Не что аналогичное предсказывали мне и другие писатели. Сам же к этим прогнозам отнесся несерьезно. А потом так оно, в общем, и произошло. А у тех, кто ориентируется на массовый вкус, — счастливый характер. Они пишут, во-первых, легко, во-вторых, плохо, в-третьих, много зарабатывают. Их жизнь безоблачна. У писателей по призванию писательство и поныне тот же крест, от которого невыносимо, невозможно избавиться. Когда в начале 60-х писал "Чонкина", я уже знал, что роман не напечатается в Советском Союзе. Потом понял, что не только не опубликуют, но вдобавок и убить за него могут. Помните такой эпизод: кладовщик Кузьма Матвеевич Гладышев нашел убитого мерина Осавиавима, под копытом которого лежал клоч бумаги со словами: "Если погибну, прошу считать коммунистом". Ну, думаю, за эту записку они меня точно уничтожат. Надо ее переделать. Написал несколько вариантов: "Если погибну, прошу считать человеком" и что-то еще в этом роде. А в конце концов махнул рукой. Семь бед — один ответ... Писатель, пишущий по призыванию, ради красного словца не пожалеет мать и отца. И себя тоже не пощадит. Причем он идет на этот подвиг не то чтобы специально. Его так ведет судьба.

— Владимир Корнилов как-то сказал: "Литература может звать не только на баррикады. Она может еще напомнить нам: Господи, ведь проходит самое главное — жизнь..."

— Конечно, я разделяю эти слова. Для меня они бесспорны. Терпеть не могу литературу, зовущую на баррикады.

— Но вы ведь выступаете в своих книгах не только как генератор идей, но и как некий обличитель...

— Никогда в жизни не звал на баррикады. Писатель сам идет на баррикады, но при этом никого с собой не зовет. Хотя часто, путая Войнич с Войновичем, мне приписывают авторство "Овода", я революционный писатель. Я вообще против литературы, которая прямо куда-то кого-то зовет. Литература не агитка, не лозунг. Она действует более тонко и глубоко. Я изображаю жизнь, разные типы характеров иронически. У меня редко бывают герои, с которых "можно брать пример". Напротив, мои герои не являлись образцом для подражания. И тем не менее за ними, скорее даже за текстом, стоит некий нравственный идеал.

Встречалась Елена КОНСТАНТИНОВА.